

Дмитрий Фурманов

В восемнадцатом году



Дмитрий Андреевич Фурманов

В восемнадцатом году

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5684222*

Аннотация

О процессе работы над повестью Фурманов рассказывает в дневниковой записи от 15 мая 1923 года, озаглавленной «Шестьдесят и цветы». Сначала он хотел написать очерк из времен гражданской войны, основой которого являлся услышанный им рассказ о том, как белогвардейский генерал Покровский в одной из кубанских станиц выпорол учительницу. Однако в творческом процессе первоначальный замысел произведения видоизменялся, а затем был отброшен совсем. Вместо очерка Фурманов написал повесть совершенно на другую тему.

Рассказывая о работе над повестью, Фурманов приоткрывает свою творческую лабораторию и подчеркивает мысль, что «не всегда автор владеет материалом» и что бывают такие моменты, когда «сам материал захватывает мощною стихией и увлекает автора, как щепку, в неизвестную даль».

Содержание

I. Город	4
II. На Дубинке	15
III. Бал	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Дмитрий Андреевич Фурманов

В восемнадцатом году

І. Город

Кубань. Краснодар. Рабочий квартал Дубинка. Серые гнилые заборы, хилые сплюснутые избушки, узкие улицы-переулки затянуты в частую тонкую сеть весенних туманов. В пустом скучающем небе – тошное, тихо-вялое ожидание солнечных дней. Тихо, пусто в улицах. Тихо, пусто в переулках. Жалостным блеском сквозь мутные стекла умирают ночники. От ночников на стеклах – сутулые, вялые, недосланные тени. Чуть мережит раннее утро – первый тихий шаг долгого дня. Закачалась на колодец с коромыслом на плечах столетняя старуха. Вышел рабочий за ворота – курит сочно и медленно дымную сигарку махры. Пыхнули над крышами белые дымки: хозяйки становились у печей. Пробуждалась Дубинка к трудовому дню.

На заборе торчит коряво мокрая, насвежо приклеенная листовка:

Товарищи!

Вас уверяют, будто Красная Армия терпит кругом

пораженья; будто советской власти нет ни на Дону, ни на Украине, что скоро падет она и в Москве Вас уверяют, что кубанцы против большевиков, против Красной Армии, против советской власти.

Кто кубанцы? Ясное дело, что тузы наши, казаки – толстосумы, заводчики, попы, жандармы; ясное дело, что все они против власти рабочих и крестьян, против советской власти. Они знают хорошо, что советская власть отымет у них награбленное добро, передаст его в руки самим трудящимся, как это сделала она у себя в Центральной России. Потому и не хотят они советской власти, потому и боятся большевиков, потому дрожат перед грозными полками Красной Армии, что идут сюда от Ростова.

Да, товарищи, от Ростова на выручку в помощь к нам идут красные полки! Они уж близко. Скоро будут здесь. Они несут на штыках своих освобождение трудовой Кубани, смерть подлецам и насильникам, укрывшимся теперь за спину Кубанской рады.

Будем готовы к бою! Хватайтесь за оружие, товарищи! Точите ножи на палачей. По первому зову подыдемся всей трудовой Кубанью в помощь красным полкам. Близок час расплаты с врагом! Близок час освобождения родного края! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует советская власть!!!

Кучки рабочих толклись у заборов, читали.

– Эге, брат: от Тимошевки, видно, будет, через Минскуюю

– вот она где главная-то сила идет...

– Почем знать, може: и не тут...

– А где ин. Тутта она и есть...

Говоривший наклонился, прошептал скороговоркой в приподнятый глухой ворот:

– В Тимошевке одне отряды... Сила по ветке идет, на Энем... с Новороссийска...

– Где с Новороссийска – что льешь?

– Морем свезли, говорят...

– Вот те и морем: солон больно...

– Товарищи – рассказывали вчера – с Тихорецкой будто тридцать девятая дивизия вся с красными идет...

– О... о... Дивизия?

– Вся дивизия: пулеметы, артиллерия – честь честью, все как надо... А солдаты зараз: долой, говорят, офицеров – сволочь такая! Все за советскую власть постоим! И как есть свои везде советы солдатские по полкам наладили: сами, говорят, всю дивизию в бой поведем, не надо никакех нам поставленных офицеров...

– А чего глядеть: давно б надо... недаром, чай, тут прописано.

Все обернулись к листовке и стали было читать, как вдруг где-то поблизости взвизгнул резко сигнальный, пронзительный свист. Рабочие кинулись врассыпную, мчались опрометью прочь, заскакивали с маху через низкие заборы, кидались по переулкам, скрывались в приотворенные ближние калитки чужих дворов...

В ту же минуту вырвался из-за угла казачий разъезд; он слепо скакал как раз на то место, где только что стояла толпа рабочих. Улица сразу стихла, будто вымерла. Только топот конских копыт да казацкая резкая брань словно плетью секли тишину. Два всадника круто повернули у забора, соскочили с коней и сорвали листовку. Где-то поблизости взвизгнул неистово дикий голос, взвизгнул и смолк. Через дорогу побежала растрепанная бледная женщина, прямо на нее скакал кудластый рыжий казак и, как только настиг, ахнул с размаху тугой плетью – мимо головы, по спине. Мгновенье – животный вскрик, и, испуганная насмерть, скрылась она в ворота, а кудластый всадник промчал мимо.

Как злые духи, взад и вперед метались по улицам, переулкам казаки, соскакивали и срывали ночные листовки, запикивали их наскоро в пазухи, летели дальше.

Так на Дубинке читались прокламации.

Главная улица Краснодара – Красная. По Красной все учреждения. На Красной живет вся знать. С Дубинки, Покровки, с окраин не любят заглядывать сюда рабочие: что им делать на Красной? И не понять, для кого развешены эти приказы, расклеены на стенах «по-большевицки» газеты? Кого они уговаривают?

*«Последние известия! Последние известия!
Решительная победа над большевиками!»*

На путях к Ростову красные банды, объединенные

не поддаваться панике и подлым слухам, которые сеют повсюду наши тайные враги. Четверо таких вчера были пойманы и ночью же расстреляны.

Граждане кубанцы! Все, кто искренне и честно любит свою страну, свое многострадальное отечество, – все вы будьте в эти ответственные дни на поддержке правительству, боритесь все с темными, вражескими элементами, хватайте всех, сеющих среди вас мятежные слухи, и передавайте их в руки властей!

Да здравствует Добровольческая армия!

Да здравствует Кубанская рада!»

И статьи, и приказы, и речи громовые кубанских властителей – все построено было в этом духе. Начиналось победами, а кончалось мольбами и страхами. Читали и недоумевали даже самые вислоухие, туголобые:

– Как это так, кругом одни наши победы – успехи, а тут вдруг: «Кубань в опасности», «берегитесь», «будьте на страже»?

– Э... э... тут что-то не так, писать-то, знать, пишут нам, да не все!

По городу бродили, и скакали, и ползали слухи – туманные, путанные, противоречивые: один цеплялся за другой, один за другой прятался, выглядывал из-за него лукаво, а потом ловко и вдруг, вовсе внезапно, кувыркал через себя, взвизгивая, несясь дальше, пока не кувыркнет его, в свою очередь, новый, такой же вздорный, торопливый слух. Так, на скакивая, переплетаясь, прячась, один за другой, один дру-

гому противоречия, метались по городу, усакивали по станицам, по всей Кубани вздорные слухи.

Город нервничал. Тщетно старался он быть и казаться спокойным: нервная дрожь выдавала глубокую внутреннюю тревогу. Он запутался в своих собственных тенетах. Он изолгался, как мелкий последний лгунишка. Ждал откуда-то помощи и не знал: будет ли она и откуда? Метался в лихорадке и верил – не верил, что придет избавленье...

События надвигались грозно, неумолимо. Напрягалась Кубань в ожиданье решающих дней. Вот он – уж слышен чуткому слуху тяжелый топот красных батальонов!

С севера, через свободный Дон, по станицам, от моря, по веткам железной дороги, со всех концов идут, сжимают, близятся они, эти сонмища неведомых людей, распалая всюду костры восстания, подымая за собою новые, все новые и новые толпы людские... Это идет к Кубани новая жизнь... Она раздавит железною пятой вот этот самый оробевший, перепуганный, лихорадочный мирок. Она верной рукой возведет свои леса и будет строить на них иное, доселе не виданное.

Сердце кубанское, Краснодар, острая тревога колотила в лихорадке.

На Штабной, недалеко от центра города, жила семья Кудрявцевых – мелкая чиновничья семья. Старик отец лет пятнадцать назад приехал сюда откуда-то из глуши Тамбовской губернии, приехал сначала один в поисках «удовлетвори-

тельных мест», как он выражался, а потом, устроившись, перетащил и всю семью: Анну Евлампьевну – свою «старуху», Павлушу и Надю – двоих ребятишек, тогда еще совсем малышей: Наде было четыре, Павлуше – девять лет. Теперь Надя училась в последнем классе гимназии, выросла выше отца – худая, тонкая, русоголовая, с серыми умными глазами, тихой речью. Павел же, питерский студент, двадцатипятилетний «дядя», был тучен, обрюзг не по годам, полысел, прочернел, развинтился вконец. Учение впрок ему не шло. В Питере он шатался больше по пивнушкам и бильярдным, пропивал и проигрывал все, что зарабатывал случайными уроками или получал от отца... Знакомые про него обычно отзываются одним только словом: «никудашный». Так его и знали как никудашного, серьезно с ним нигде не считались, уважать не уважали, но и зла против него не имели. Павел был, что называется, «мешок с соломой»: прост, незлобив, добродушен и глуповат не по возрасту.

Сам старик, Петр Ильич, вот уж десять лет как сидит в канцелярии женской гимназии – целый день в густом табачном дыму, в грохоте и звоне молодых девичьих голосов. Сидит, как сыч, угрюмо и насупленно, за своим широким клеенчатым столом, обложенный ворохами книг и бумаг, дает разные справки, записывает разные дела, помаленьку и втихомолку, склоняя лысину и глядя поверх очков, сплетничает с соседями-сослуживцами... А приходя домой, снимает черный со светлыми пуговицами служебный сюртук, облачается

в какой-то неопределенного цвета лапсердак, разваливается с газетой в кресле и через каждые три минуты приговаривает, разводя руками:

– Это невозможно, это невозможно!..

– Чего там? – спросит недоуменно Анна Евлампьевна.

– Да что, – махнет рукой старик, – говорил я, что прах один...

И начинает он своей старухе пояснять что-то совершенно отвлеченное, чего та и не понимает, да и не слушает, уходя от разговоров то и дело на кухню... Воротится, а он опять, а он опять, пока не придет кто-нибудь из знакомых, не оборвет философствующего старика. И уже через пару минут, после обычных приветствий и вопросов, Петр Ильич кидается на нового, трижды несчастного, собеседника, удушая нескончаемыми разговорами. Мысли у него путанные, неясные, говорит он о чем угодно и по каждому вопросу с одинаковым апломбом... Схватывались прежде с ним поспорить по детскому неведению и любопытству и Надя с Павлом, но вот уже два-три года как пропал для них аромат отцовских философствований, и, не видя больше в них никакого толку, они обычно отмалчивались, занимаясь чем угодно, только не «деловой» с ним беседой. Впрочем, это нисколько не мешало им уважать, по-своему даже любить старика и обращаться с ним просто, по-приятельски.

В семье Кудрявцевых была та простецкая, хорошая атмосфера, где не чувствуется ни малейшего гнета, никакого

проявления родительского режима, где каждый приходящий через десять минут начинает себя чувствовать «своим» и уходит отсюда полный какой-то умиротворенности, спокойствия. Даже трудно было бы объяснить, отчего это так выходило. Сам старик в конце концов был надоедлив и тошен своими разговорами, расспросами, рассказами, пояснениями, вообще своей назойливостью. Правда, с ним и не очень-то церемонились – со второй же беседы приучались не отвечать ему по крайней мере на три четверти вопросов, и это его, видимо, нисколько не обижало – старик перекидывался на Анну Евлампьевну, а та уж всегда умела свести с ним счеты...

Анна Евлампьевна была добродушнейшая, невиннейшая женщина, вся жизнь которой сосредоточивалась в любви и заботах о детях, в хлопотах по хозяйству... Она только по долгу да по привычке состязалась в разговорах с Петром Ильичом, а по существу ничего не понимала в его разглагольствовании о раде, о советской власти, большевиках, гражданской войне... Петр Ильич при ней говорил все равно что в воздух – и потому особенно любил говорить именно с ней: тут уж не встретишь никаких протестов, никаких возражений, тут все, что ни скажи, – ладно и хорошо...

Павел Петрович в доме как бы вовсе не чувствовался: разговаривал мало и вяло, пыхтел неотрывно папироску, что-нибудь шевелил и перекладывал с места на место, много и часто ел,пил, иногда читал, но мало; основательно и охотно

засыпал, по преимуществу одетый, уткнувшись на диванчике...

Душой семьи была, несомненно, Надя. Не по годам серьезная и умная, она очень много читала, всем интересовалась, очень чутко относилась и к событиям общественной жизни, но как раз именно в этой области ей многое не давалось, было вовсе непонятно, и этого непонятного никто не мог объяснить. Она, например, не могла понять того, как и отчего существуют столь непримиримые отношения между коренными казаками-кубанцами и большинством приезжего населения; отчего теперь по отделам то атаманы заправляют, то советы и отчего именно приезжие, «иногородние», больше льнут к советам, а казаки от них отшатываются, восстают, борются против них? Даже у себя в гимназии она замечала между подругами какую-то разноголосицу и в отношениях начальства гимназического чувствовала эту самую неодинаковость внимания к тем и другим. Пыталась она говорить и с отцом и с Павлом, но толку никакого не вышло: отец понес ахинею, а Павел отмалчивался, пробормотал что-то невнятное и от разговора уклонился. Так, в неведении, горя охотой все понять и все узнать, не находила Надя верного, желанного пути, не встречала желанного человека, не знала, как и что ответить себе на возникавшие тревожившие ее вопросы.

II. На Дубинке

На Дубинке, в доме Гущина, вот уже четыре года живет рабочий с завода «Кубаноль», Степан Петрович Караев. У Караева семьи нет: пятый год пошел, как схоронил он чахоточную жену, и с тех пор один, бобыль бобылем. Занимает он крошечную комнатку во флигеле, кроме завода нигде не бывает, а по вечерам до поздней ночи в тусклом его окошечке светит лампа: Степан Петрович большой охотник до книг. Его на заводе недаром прозвали «учителем». Справку ли надо какую получить, объяснить ли что, узнать, – всегда обращаются к нему. И на все вопросы отвечает этот удивительный грамотей «учитель». К нему товарищи относятся с уважением, хоть и не прочь иной раз подтрунить над книжной караевской ученостью:

– А скажи ты, учитель, почему это у человека пять пальцев на руке, а не восемь? Ладнее, кажись, было б работать-то?

– Значит, не ладнее, коли пять, – отвечает Караев серьезно, будто и не поняв вовсе шутки.

– Ну, а все-таки, как же это по книге у тебя там выходит?

– По книге никак не выходит... А вот болтаешь ты, Карась, и сам не ведаешь, чего болтаешь, – урезонит Караев. – Как удобнее, так оно и складывается, а что неудобно в жизни, то навсегда пропадет... Может, и было когда восемь, да не к

делу оказались, и осталось тебе, сердешному, только пять... А что тебе больше хочется – хватит и этих на чужое-то рыло работать...

И Степан Петрович всегда от шутки так повернет разговор, что у собеседника враз отпадет охота шутить, а вместо шуток складываются невольные какие-то другие речи, рождаются какие-то другие мысли, которые и близки и понятны, про которые надо и думать и говорить, говорить...

Угрюмое желтое лицо Караева на первый взгляд кажется сухим и неприветливым, но это только на первый взгляд. А разговорись с ним – и добрые карие глаза засветятся внутренней теплой лаской, и слова его, такие простые и всегда нужные, привлекут тебя, затянут, заставят слушать, отвечать, спрашивать...

Сегодня Караев весь день как-то особенно серьезен и молчалив: на работу пришел позже обычного, ушел тоже раньше всех – это с ним случается редко. В комнатке у него прибрано, вещи уложены, словно ехать куда собирается, и все ходит он, ходит – перекладывает их с места на место. Рядом с комнатой, где он живет, находится небольшой чулан, и там все прибрано, а на стене подвешена жестяная маленькая лампочка. Взялся за книгу, почитал немного, мысли не те, – оставил. Отбросив верхнюю занавеску, вытянул с печки небольшой медный самоварчик, начал возиться с углями. Потом сидел за чаем и тихо, медленно высасывал стакан за стаканом... Выходил в сени, выходил и на двор, за ворота.

Снова усаживался к столу и все ждал – ждал чего-то напряженно...

Спустились сумерки, в комнате стало совсем темно, но огня Караев не зажигал... Где-то поблизости в железную крышу дома вдруг ударились один за другим два брошенных камня. Караев встал и вышел за калитку – там с противоположной стороны быстро перескочили к нему две тени:

– Спокойно?

– Спокойно все... Налево... Не ткните – приступки тут. А где же ящик, у Климова?

– Да, – ответил кто-то второпях, – не закрывай, они вслед за нами.

Через минуту от палисадника отделились еще две фигуры, – в руках у них чернело что-то массивное... Караев быстро выскользнул им навстречу, подхватил ящик спереди, и так, втроем, втащили его через калитку прямо в чулан. Зажгли лампочку, прикрыли ее тряпкой, начали распаковывать. Остальные прошли в комнату, осмотрелись, пощупали стены, тихонько постучали здесь и там, заглядывали во двор, приподнимая занавеску: темная темь, ничего не видать!

Это на новую конспиративную квартиру пожаловали к Караеву подпольщики-большевики. Притащили с собой шрифт, краску, станок, бумагу, – сегодня надо было готовить воззвание. Двое, что прошли в комнату, видимо, очень торопились, три раза приходили в чулан, понукали товарищей заканчивать:

– Потом разберется... Успеете... Ну, айда, айда, поживее...

Вошли. Сняли шапки и широкополые шляпы; один – высокий, стройный, черноволосый, с черной курчавой бородой, вдруг сдернул парик и оказался совсем молодым человеком лет двадцати, двадцати двух. Это – Виктор Климов. В черных серьезных глазах еще дрожали быстрые огоньки беспокойства. Матовое лицо передергивалось нервной рябью. Другой – среднего роста, Степан Пащук, отклеил рыжие тараканьи усики и с улыбкой положил их перед собой на столе. Степану было лет тридцать: плотный, коренастый, с высокой грудью, с быстрыми черными огнистыми глазами; движения порывисты и нервны, голос глухой, надорванный.

И Климов и Пащук тотчас разделись, побросав на пол шапки и обтрепанные пальтишки. Те двое, что вошли первыми, сидели за столом не раздеваясь, шляп не сняли: видно, что торопились уходить. Одному можно было дать лет двадцать пять – тонкоусому, с небольшой русой бородкой; другому – лет сорок; этот не наклеил ни усов, ни бороды, только низко опустил на морщинистое лицо широкополую старую шляпу – Кирилл Паценко, урожденный кубанский казак, недели три назад приехавший из Акатуя, где пробыл без малого четыре года. Сосед его – тоже из ссыльных, Тарас Бондарчук, последнее время почти безвыездно работал в Армавире и только накануне приехал в Краснодар.

– Ну, вот что, ребята, – сказал Паценко. И голос его про-

звучал серьезно и внушительно. Видно было, что он здесь главный. – Мы наскоро обсудим теперь же, а вы обработаете сами... Лиза говорила, что из штаба получены какие-то новые сведения, и мы с Тарасом сейчас уйдем.

– Кто дал? – спросил Климов.

– Опять Владимир...

– Ловко прилачился, молодчага, – уронил одобрительно Пащук.

«Владимир» – это была кличка одного из товарищей, устроившегося писарем в штабе генерала Покровского и передававшего изо дня в день в подпольную организацию все необходимые материалы.

– Так вот, – продолжал Пащенко, опустив голову и не глядя ни на кого, – мы с Тарасом пойдем... Приехали там еще из Новороссийска – ждут... Надо все разузнать и сообщить им свои новости... Лиза говорила – какие-то перемены...

– Где? – спросил Бондарчук.

– В раде... Она будто раскалывается: одни уходят, другие хотят бороться до последнего в городе и города не сдавать...

– А Покровский? – спросил снова Бондарчук.

– Первый, сволочь, убежит, – вставил Климов и улыбнулся, широко обнажая здоровенные кряжистые зубы.

– Убежит-то убежит, – вслух рассуждал Бондарчук, – а вон что вытворяет; насчет Казанки все верно: четыре виселицы... и двенадцать человек в овраге.

– Вот это и надо вклеить, – ткнул пальцем в стол Пащенко

и взглянул на Климова, как будто указывая ему место, куда именно следует что-то «вклеить». – Даже на этом и построим. Как думаешь? – обернулся он к Пащуку.

– Чего ж, отлично, – соглашался тот, похлопывая тихо себя по коленям. – Только я думаю, что два разных придется писать: одно про раду, другое про Казанку...

– Да где уж, не успеем, – запротестовал было Тарас.

– Молчи, Тарас, молчи, – перебил его Пащук, – раз говорю, значит, сделаем... с Климом... Вдвоем, да не сделать, – на что мы и годны после этого?..

– А ну-ка, давайте скорей, – быстрым шепотком торопил Паценко. Ему не терпелось, сообщение Лизы не давало покоя.

Караев молча сидел на самом конце лавки и в разговор не вступал, только переводил с одного лица на другое темные грустные глаза.

– Степан, ты, значит, с собой захватишь половину? – обратился к нему Паценко и мотнул головой в сторону Клима.

– Возьму...

– Да не всыпья, дядя...

– А всыплюсь, отрыть можно, – отшутился тот без улыбки на спокойном лице.

– То-то, отроют... Не всегда, брат, удастся... Так вот что, – обернулся он снова к Пащуку, – не лучше ли будет, чтоб ты пока один тут кой-чего набросал, а мы поговорим о другом, понимаешь? Мысли только главные... а все осталь-

ное вы там вдвоем с Климовым...

– Идет.

И Пащук достал бумагу, перед собой положил карандаш, отодвинулся на другой угол стола, потер ладонью морщинистый лоб и так, с поднятой головой, закрыв глаза, сидел с минуту. Потом схватил карандаш и быстро-быстро стал записывать. Тем временем Паценко, Климов и Тарас, наклонившись друг к другу, разговаривали тихо, чтобы не мешать Пащуку.

– Ты, Степан Петрович, тоже придвигайся, – обратился к Караеву Паценко.

Тот молча сел рядом на полу, вывернул колена и, широко охватив их руками, застыл без движения.

– Мне кажется, надо будет ехать в Новороссийск, – сообщил товарищам Паценко. – Они там что-то надумали... Надо быть, на этих же днях и подымутся... Все полотном не пойдут, – часть ударит к Тимошевке, а другая здесь, от Крымской...

– Он, сукин сын, почуял, видно, что дело неладно, – мотнул рукой Бондарчук, и было понятно, что речь идет о Покровском.

– А что?

– Да очень уж газеты жалобны стали: «Братья казаки... дорогие защитники свободы»... Соловьем разливается, подлец, а нет-нет, да и сболтнет: Кубань-де в опасности, гроза, мол, не миновала...

– И по заборам тоже, – добавил Климов. – Вчера одного из буковских, рабочего, на Сенном избили...

– На Сенном?..

– Заметили, с забора сдирал... листовку какую-то, а тут из окна капитан увидел, выскочил в одной рубашке, подтяжками по воздуху трясет, орет, бежит на него... Ну, солдаты баню дали, говорят, здоровую...

– Сдирают ловко, – добавил Бондарчук.

– А то нет? К вечеру везде облупят... Я гляжу, наши-то, – сказал Климов, – едва ли не дольше висят?

– А вы, ребята, вот что, – перебил Паценко, – в центр лезть не стоит, чего тут... Дело делом, а зарываться все-таки не годится, да и толку, по-моему, тут нет никакого... Кому развешивать? Надо все-таки знать, что сила наша по краям, – вот уж тут клей где попало, а в центре – в центре совсем даже советую бросить...

– У Буковского сколько работают?

– То есть по заборам? – спросил Климов.

– Да...

– Расклеивают четверо, а раздают по рукам, я уж, право, и не помню; во всяком случае, там хорошо...

– У Саломаса?

– Там Пархоменко, а кто у него... Да, кто у него, ты не знаешь, Степан Петрович? – обратился Климов к неподвижно сидевшему Караеву.

Тот вскинул глазами, помолчал и чуть слышно ответил:

– Шестеро...

– А у тебя?

– У меня тоже шестеро, кроме самого... я мальчишек еще двоих приладил.

– Да, мальчишек хорошо, только осторожней надо, – серьезно сказал Паценко. – Вот что насчет мальчишек, – я как раз и насчет этого хотел сказать. У нас тут с молодежью, с учащейся, нет ничего, – никак не связаны, а надо бы связаться, да теперь же... Если работы не будет, через них хоть узнавать что-нибудь.

– Э, брось ты, Паценко, – запротестовал Бондарчук, – до того ли? Ну, на кой они черт, эти казацкие дочки, какой тут толк? По-моему, и сил отрывать не стоит, одна чепуха...

– Пожалуй... – промычал согласно и Климов.

– А я думаю, наоборот, – нисколько не меняя тона, продолжал Паценко. – Как можно таким образом рассуждать?.. Мало ли что мы думаем? А ну как и на этот раз неудача, да как останется тут все, ну хоть полгода, что ли... Значит, опять не трогать? Нет, нет, нет, ребята... Я не согласен. По-моему, сейчас же... Что будет, то будет, а предвидеть всегда нужно худшее...

– Чепуха, – горячо перебил Бондарчук. – Не надо... Со всем чепуха... Ты гляди, – обратился он к Климову, почувствовав в нем единомышленника. – Надо ведь дать кого-нибудь дельного, не так ли?

– Ясно, – подкрепил Паценко.

– Ну, вот тебе и ясно... Надо дельного, потому что все-таки ученая вся тут компания... И язык надо круглый, и с головой, а где они, ученые-то, кого ты дашь?

– Да что ты, братец, гремишь впустую, – тихо успокаивал Паценко, – а ты не ядрися, какого черта?.. Потом мы же ничего еще и не решили, только говорим... А я думаю, надо будет и его потревожить, – указал он пальцем на Пашука. – Эй, Сократ Пантелеич, заканчивай... Голос нужен.

Пашук приподнял от бумаги голову и посмотрел совершенно рассеянно, – он ничего не слышал из того, о чем спорили товарищи; он мастерски умел приспособляться к работе в любой обстановке и мог под шум, под крики составлять самые дельные статьи и заметки, будто все мысли и даже фразы были у него давно готовы и теперь он их только механически заносил на бумагу.

– Ты скоро ли кончишь?

– Кончаю вторую... А что я?..

– Да нужен бы к разговору. Ну, кончай, кончай, только поскорее, кстати, нам и идти пора бы, – взглянул он на часы и почесал затылок под шляпой, поддав ее еще ниже на нос.

Через две минуты Пашук окончил работу.

– А курнуть бы, а? – обратился он неопределенно, не глядя ни на кого.

Степан Петрович достал кисет. Стал вертеть из газетных обрывков здоровенные, толстые сигарки.

– Я вот что, Пашук, – обратился к нему Паценко, – я гово-

рю – с молодежью тут пора бы побудора-жить, потому что...

– А кто ж тебе не говорит? – прервал его Пащук. Он иногда выражался странно, и это было всегда

в те минуты, когда голова все еще полна была неотлетевшими мыслями, а слова выскакивали сами собою.

– Да ты понимаешь ли, что я говорю? – улыбнулся Паценко.

– Ну да, насчет молодежи...

И Паценко рассказал ему коротко, в чем дело. Пащук горячо встал на его сторону. Климов сначала колебался, а потом согласился и сам.

– Во всяком случае хуже не будет, – решил он вслух.

Один Бондарчук упорно стоял на своем и отрицал в этой работе всякий смысл, твердя все об одном:

– Сил и так нет, а вы и ее губить хотите, останную силу.

– Лучше всего, Климов, знаешь ли, тебе бы взяться самому, – сказал Паценко.

– А как же?... – посмотрел на него вопросительно Климов и мотнул головой в сторону чуланчика, намекая на то, как же, дескать, типография.

– А Пащук с ней... И Лизу можно... Она уж малость работала... Обвыкнет... Ты как сам-то?

– Я что, я ничего... Только слажу ли?..

– Сладишь, Витя, сладишь, в тебе ладу много, – похлопал его по плечу Пащук и густо пахнул махорочной струей.

Решили Виктора отрядить на работу с молодежью.

– Читать, что ли? – развернул Пащук исписанные бумажки. – Тут в самых что ни на есть кратких словах...

– Вали, – согласился Паценко.

Бондарчук сидел угрюмый и насупленный. Орехово-зуюевский ткач, сын ткача, потомственный пролетарий, он с большим недоверием смотрел на всякие затеи в нерабочей среде, ни на грош не верил интеллигентам и уважал из них только немногих, которые все время были с ними вместе, которых изо дня в день он мог проверять на непосредственной работе. Поэтому не верил он и теперь, что с «девчонками» выйдет какой-нибудь толк.

– Придется, Витенька, во все тяжкие пускаться, – продолжал Пащук, – и вальсом кружить, и слова ласковые...

Климов молчал, улыбался, забористо тянул сигарку.

– Пащук, Пащук, к делу, – торопил его Паценко.

– Только покороче, знаешь ли, одну середку...

– Идет...

И пункт за пунктом передал Пащук содержание двух предполагавшихся листовок. В одной клеймилась предательская, фальшивая деятельность рады, указывалось, как она, прикрываясь красивыми лозунгами, идет покорно на поводу у монархиста Покровского и выполняет, по существу, самое черное, грязное дело... Говорилось о том, что представители станичников в раде околпачены, что наиболее сознательные из них уже поняли это и из рады бегут, что красные войска подступают к самому Краснодару и надо помочь им освобо-

дить Кубань от генеральского гнета, но не с радой, а против рады, потому что... и т. д. и т. д.

В другой листовке красочными, сочными мазками набросал Пащук картину издевательства и зверств, учиняемых офицерьем по запуганным, немым станицам... И как пример, приводил недавний расстрел в Казанке и поставленные там четыре виселицы.

«Кубанцы! Трудовые казаки! Рабочие и крестьяне! Поймите этот кровавый ужас, поймите, к чему приведет вас эта жестокая расправа царского генерала», – заканчивал Пащук вторую листовку и звал на восстание, звал объединиться с наступающими красными войсками, быть им подмогой.

Поговорили недолго. Обработать листовки поручили ему вместе с Климовым. Паценко с Тарасом скоро ушли. Степан Петрович проводил их до калитки, отодвинул бесшумно засов, вышел первый, осмотрелся вокруг и, когда уверился, что нет никого, пропустил их мимо себя, пожимая руки...

Добрый час Пащук с Виктором писали и переписывали, а когда закончили, возились в чулане при свете тусклой лампочки, чуть разбирая мелкие свинцовые куколки шрифта, перекладывая их с пальца на палец, бережно и плотно приставляя друг к другу, словно лепили холодные и гладкие соты... Когда набран был весь текст, уложили заверстанные полосы на ящик, плотно сомкнули, накатали накрашенным валиком, притиснули первый лист... Тиснули второй, третий... Разделили полосы пополам – проверяли, отмечая на

полях, потом снова брали крошечные буквы, одни вытаскивали, другие вставляли и, когда весь текст был начисто проверен и исправлен, поочередно начали тискать листок за листком... Степан Петрович тем временем стоговил самовар, наломал большими кусками хлеб в тарелку, пришел за ребятами в чуланчик:

– Идите-ка заправиться... Ишь носы раскрасили...

– А ты, Степан Петрович, сменой будешь. Ну же, подходи, – командовал ему Пащук. – Вот так, теперь намажешь... Кладешь, ну, нажимай... – И он обучал Караева новому ремеслу.

Уж давно прокричали петухи...

Бледнело глубокое темно-синее небо, откуда-то издали глухо гудел гудок. Просыпались утренние шорохи и вздохи... Комната посерела... В тонкие щели чуланчика заползали рассветные бледные полосы...

А они втроем все крутились около станка. Тут же чавкали хлеб, прихлебывали из стаканов остывающий чай.

Наутро листовки были готовы...

Ш. Бал

Сегодня у Нади много хлопот. Она весь день занята приготовлениями к концерту. Концерт устраивается в пользу раненых солдат добровольческой армии. Начальница той гимназии, где должен состояться концерт-бал, отобрала группу учениц и поручила им все заботы, а сама то и дело ездила в штаб, тоже хлопотала, сносились с разными высокими чинами – жаждала блеснуть, отличиться, показать себя во всей красе великодушного порыва.

В число избранниц попала и Надя. Она с большой охотой взялась за порученное дело и последнее время занята была до поздних вечеров, собирала, раскладывала, размеривала, тоже металась по разным учреждениям, приглашала артистов, устраивалась с музыкантами, раздобывала разное добро, вместе с подругами перевозила его в отведенный для этого класс и была всецело поглощена своим новым, живым, интересным делом. Ей впервые приходилось исполнять нечто такое, где она перестала чувствовать себя ученицей, где не было обычной суеты над книгами, забот об уроках, ответах, удачах и неудачах, где она чувствовала себя и более взрослой, и более серьезной, и, казалось ей, по-настоящему нужной и полезной!

Анна Евлампьевна только руками разводила:

– И что это ты, Надюшка, есть совсем перестала, день-

деньской шатаешься?

– Ах, мама, ты не представляешь, – щебетала весело Надя, – ты не знаешь, какие будут силы... Всех из театра забрали – самых лучших... Два оркестра духовых, от штаба... Игры, масса игр... И Анна Петровна, начальница, говорила, что все будут принимать участие, а старший класс останется до конца... Наша группа только готовит бал, а во время бала торговать, разводить, помогать будет другая группа,... Мы там свободны. Мы там – э-эх, погоди-ка! – весело щелкнула Надя.

– Ну, так что, что до конца: обедать-то надо все-таки или нет? – сокрушенным голосом возражала Анна Евлампьевна.

– Да что ты: обедать-обедать, вот кухмистерша какая! Мы же и там... Накупили такую массу... Буфет... знаешь, наверну, в третьем классе, как раз над папиной канцелярией. Поваров тоже от штаба, и откуда-то из ресторана. Входных билетов совсем не будет, – только на места... И Анна Петровна говорит, что разобрали... Ничего не осталось... Цены – выше некуда... Сбор, говорят, такой будет – на редкость!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.